



Владимир Кунин

Русские на Мариенплац

ФТМ



Владимир Кунин
Русские на Мариенплац

«ФТМ»

1993

Кунин В. В.

Русские на Мариенплац / В. В. Кунин — «ФТМ», 1993

В начале девяностых трое советских граждан оказываются в Мюнхене – кто добровольно, кто по воле случая. Уличная певица Катя Гуревич не прижилась в Израиле и решила попытать счастья в Германии. Цирковой артист Эдик Петров попросил политического убежища, насмотревшись на ужасы войны на окраинах Союза. А танкист Западной группы войск Нартай Сапаргалиев не без участия того же Эдика оказался похищен с уходящего в Россию эшелона. Да не один, а вместе с вверенным ему танком. И вот на Мариенплац, главной площади Мюнхена, всех троих встречает автор. Сначала им движет писательское любопытство, а потом – искреннее желание помочь своим героям.

© Кунин В. В., 1993

© ФТМ, 1993

Содержание

Часть первая,	6
Часть вторая,	15
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Владимир Кунин
Русские на Мариенплац
Рождественский роман в 26 частях

© Текст. В. В. Кунин, наследники, 2020

© Агентство ФТМ, Лтд., 2020

* * *

Часть первая, рассказанная Автором, – о том, что обычно говорят киносценаристы и как некоторые из них попадают в Мюнхен...

...Боже! Как я устал от кино! Как мне надоело сочинять киносценарии!.. Как осточертело мне это постоянное конструирование, перетасовывание известных сюжетных схем и полная беспомощность, когда видишь, как твой сценарий, который ты считал умным, ироничным и многоплановым, расплзается по всем швам и принимает убожеское экранное выражение.

Так я говорил себе двадцать семь раз в своей жизни и тупо садился сочинять новый киносценарий.

Лишь пять фильмов из тридцати двух, снятых по моим сценариям, не вызвали во мне жгучего желания бросить все к чертовой матери, немедленно разбить голову о стену и, если Боженька оставит меня после этого в живых, заняться каким-нибудь совершенно другим ремеслом.

Иногда удавалось напечатать сценарий в каком-нибудь зачуханном журнальчике или альманахе с мизерным тиражом. Я скупал сотни экземпляров и раздаривал их шоферам такси, водопроводчикам, сотрудникам дорожной милиции, соседям по дому и маленьким чиновникам, от которых зависело мое сиюсекундное маленькое благополучие. И, конечно, всем своим друзьям, от которых ждал только одной фразы: «Сценарий намного лучше фильма!..»

Но однажды со мной произошел невероятный в нашей системе случай.

В самом начале перестройки, когда будущее казалось радостно-таинственно-светло-прекрасным, один мой сценарий произвел фурор и достиг такой скандальной известности, что был издан отдельными книжками только в пределах моей страны девять раз, с общим тиражом в два с половиной миллиона экземпляров!

А усилиями одного западногерманского издателя – еще в двадцати трех странах на семнадцати языках, от Америки до Китая, включая практически все страны Западной Европы.

Километровые очереди стояли у касс кинотеатров всей нашей страны, чтобы посмотреть довольно средний фильм, снятый по этому сценарию и триумфально шагавший по экранам всей, тогда еще не рассыпавшейся, империи!

Сорок два театра играли пьесу, наспех состряпанную мною по просьбе одного великого русского театрала. Когда на его предложение написать пьесу для театра по этому сценарию я ответил, что не умею писать пьес, он с ласковой снисходительностью маршала, на секунду заглянувшего в окоп к рядовому солдатику, сказал:

– Ну это же так просто, мой дорогой. Слева – кто говорит, справа – что говорит...

Я стал богат и знаменит.

Знаменит настолько, что об меня вытерли ноги почти все газеты и журналы Советского Союза. А самая главная газета нашего государства даже обзвала меня «порнорэкетиром».

А богатым я стал настолько, что сумел отдать все старые долги и купить новый автомобиль взамен сгнившего.

Но была и еще одна грань моей внезапно вспыхнувшей популярности. Меня стали приглашать работать иностранные кинофирмы! За треть нормальной цены, но...

Не хотите ли написать что-нибудь русско-японское? Или франко-российское? А может быть, чего-нибудь российско-германского, а? Теснейшие связи Германии и России (забудем о

войне) своими корнями уходят в такую глубь державных постелей и веков, что просто грех об этом не вспомнить!..

К тому времени перестройка уже перевалила через апогей своей привлекательности, и я схватился за спасительную мысль об историческом сюжете.

И нашел такой сюжет. И даже сочинил сценарий.

Усилиями трех переводчиков, рекомендованных мне иностранной комиссией Союза писателей, сценарий был переведен на немецкий язык и без промедления выслан в Мюнхен, в кинофирму, которая была особо настойчива в своем желании пригласить автора российского бестселлера для работы на Западе.

Сладкое, дурмящее иноземно-валютное облако будущего обволакивало отныне мое существование.

Судя по тому, что немцы прислали мне даже аванс, им понравилась идея и общая благодушно-историческая направленность моего сценария. Однако они хотели бы, чтобы уважаемый автор на пару недель прилетел в Мюнхен для уточнения некоторых эпизодов. Естественно, что все расходы... И так далее.

И я прилетел в Мюнхен.

В аэропорту я был тепло встречен помощником президента фирмы, привезен в небольшой, но уютный отельчик, а спустя час – тщательно выбритый, умытый и приодетый, со сценарием под мышкой – предстал перед самим президентом, который тут же потащил меня в какой-то невероятно дорогой ресторан.

За столом с нами сидел переводчик – симпатичный бородатый толстяк лет тридцати пяти по имени Виктор. Он родился и вырос в Мюнхене и разговаривал по-русски в забытой, старопетербургской аристократической манере академика Лихачева.

Именно от этого толстяка-симпятиги я и узнал, что немцы почти ни одного слова не поняли в моем сценарии, так как по-немецки его прочесть было просто невозможно. Ибо немецкий язык, которым владели те три московских переводчика, был языком челяди Франца Лефорта времен Кукуевской слободы при Петре Великом...

– Нет ли у вас с собой русского варианта? – спросил президент.

Я положил сценарий на стол между форелью в белом соусе и скампи с чесночной подливкой.

– Прекрасно! – сказал президент. – Мы отдадим ваш манускрипт Виктору, он его сегодня ночью прочтет, завтра утром перескажет мне своими словами, а потом сделаем нормальный перевод. А пока не хотите ли еще немного водки?..

На следующее утро позвонил Виктор, рассказал, как понравился президенту его устный пересказ моего сценария, и сообщил, что сегодня я могу быть свободен от всех кинематографических дел. Спросив, нет ли у меня каких-либо проблем, и получив бодрый отрицательный ответ, Виктор распрощался со мной до завтра.

Спустившись из номера, я выяснил, что живу в самом-самом центре Мюнхена, на пешеходной зоне Шютценштрассе, в очаровательном отеле «Розенгартен», и до Штахуса, Мариенплац и Виктуалиенмаркта – центра международного туризма, куда стекаются зеваки со всех концов света, – мне буквально рукой подать! Три минуты неторопливым шагом при достаточно длительных остановках у магазинных витрин, поражающих российского обывателя сказочным изобилием.

В кармане у меня лежал конверт с «тагесгельд», а по-нашему – просто суточными, в руках у меня был план центра города и фотоальбом «Мюнхен» с текстом на русском языке, любезно преподнесенный мне президентом во время вчерашнего обеда в ресторане.

Несколько немецких слов и выражений из фронтового разговорника, застрявших в моем мозгу лет сорок пять назад, показались мне достаточными для самостоятельной прогулки. Важно было только следить за собой и не пользоваться тем грозно-повелительным императи-

вом, которым грешат все военные разговорники. Но тут я рассчитывал на собственное обаяние...

В едином праздном течении я плыл среди сотен людей, болтающих по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-английски...

Маленькие дети хихикали по-польски, плакали по-арабски, перекрикивались по-испански и требовали мороженого по-сербски...

Я шел мимо старика с длинной седой бородой. На голове у него была спортивная шапочка с козырьком и надписью «Я люблю Нью-Йорк». Старик ползал на коленях по площади и цветными мелками быстро рисовал на каменных плитах огромные картины на библейские сюжеты.

Неподалеку от старика художника неопрятный маленький толстяк в свитере, с венчиком вьющихся волос вокруг внушительной лысины замечательно пел арию Каварадосси! Пел настоящим оперным голосом, но вдруг совсем по-раешному, в духе провинциального конференса, неожиданно прерывал себя, чтобы потрепаться с публикой. А потом, так же неожиданно, начал петь... партию князя Игоря!

Метрах в тридцати от Игоря-Каварадосси на костылях с подлокотниками стоял невысокий квадратный молодой парень восточного типа и безупречно жонглировал мячом, подбивая его головой, костылями, плечом, грудью. Короткие, почти безжизненные ноги, пораженные, наверное, полиомиелитом еще в младенчестве, были широко расставлены и представляли собою слабую и ненадежную опору. Тем удивительнее было то, что он вытворял с простым детским резиновым мячом!

Шел я мимо четверых живописных мексиканцев в ярких цветных пончо, певших по-испански четырьмя разными голосами...

Мимо строгого, элегантного китайца с табличкой «Напишу ваше имя». За небольшую плату, тонкими палочками, макаемыми в тушь, он изображал на большом куске рисовой бумаги имя заказчика таинственными и красивыми иероглифами.

Художники рисовали портреты тщеславных туристов, пожелавших увековечить свой образ. Рисовали по-нашему, по-арбатски, так же кичевато и слащаво-марципаново зализывая каждый штрих, с откровенной лестью натуре, чтобы этой натуре и в голову не пришло пожалеть об истраченных десяти марках.

На минуту задержался у неподвижно замершего негра в костюме Чарли Чаплина. Все пытался заметить, когда наконец негр моргнет, когда дрогнут его веки. Да так и не дождался. Ай да негр! Ай да молодец!

Не успел я пройти и десяти шагов, как остановился будто вкопанный! Сначала я даже не сообразил, что же такое выплеснуло меня из общего туристского потока, что заставило меня буквально прилипнуть к каменным плитам Мариенплац?!

А спустя мгновение понял – где-то совсем-совсем рядом живым голосом пела живая Нани Брегвадзе! Пела один из любимейших мною старинных русских романсов!

Легкий, почти незаметный, ускользящий грузинский акцент придавал романсу дополнительное очарование, а гитара, сопровождающая несравненную Нани, вела себя так мягко, так деликатно, что у меня и сомнения не осталось – здесь, рядом со мной, в Мюнхене, на Мариенплац, вот за этими разноцветными спинами, стоит Нани Брегвадзе и поет:

Лишь только вечер опустится синий,
Лишь только звезды мелькнут в небесах,
И черемух серебряный иней
Жемчугами украсит роса...

«Боже мой... – подумалось мне. – Неужели и она?!»

Не веря самому себе, я рванулся на знакомый до боли голос.

В добротной волевой манере военного разговорника давних лет, разбрасывая направо и налево: «Энтшюльдиген! Энтшюльдиген!», я врезался в толпу, окружавшую Нани Брегвадзе, и увидел... молоденькую, красивую девочку лет двадцати – двадцати двух, в джинсах и какой-то невзрачной курточке.

Отвори потихоньку калитку
И войди в тихий сад ты как тень,
Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку надень... –

пела эта девочка голосом Нани Брегвадзе. Она легко перебирала гитарные струны, а у ног ее лежал старый облезлый футляр от гитары, в котором поблескивали десятка полтора монеток.

Я ошеломленно уставился на эту девочку.

В ней даже на грош не было ничего грузинского! Разве что большие, темные, широко расставленные глаза. Но такие глаза могли быть у любой русской, французской, украинской, еврейской девочки. Хотя и еврейского в ней тоже не было ничего.

Тонкое породистое лицо с прямым носиком и четко очерченными губами, а под неказистой курточкой и стиранными-перестиранными джинсиками угадывалась прекрасная фигура.

Аплодисменты, которыми наградила разноликая толпа эту девочку, вызвали у нее отчасти благодарную, но в большей степени ироничную улыбку. И мне это ужасно понравилось!

А когда отзвенели еще с десятков монет, брошенных зрителями в старый гитарный футляр, девочка недобро сдвинула брови, жестко рванула струны и вдруг, без малейшего намека на грузинский акцент, запела знаменитую песню Галича:

Мы похоронены где-то под Нарвой,
под Нарвой, под Нарвой.
Мы похоронены где-то под Нарвой.
Мы были – и нет...
Так и лежим, как шагали –
попарно, попарно, попарно...
Так и лежим, как шагали попарно –
и общий привет!..

Я чуть не расплакался. Господи! Ну откуда, откуда у этой писюхи с гитарой, которая моложе меня лет на сорок, *мой* репертуар?! Почему она вместо рока, шлягеров и сегодняшних модных мелодий поет *мои* песни? Откуда в ней это?

...Эй, поднимайтесь, такие-сякие!
Такие-сякие...
Эй, поднимайтесь, такие-сякие,
ведь кровь – не вода!
Если зовет своих мертвых
Россия, Россия, Россия...
Если зовет своих мертвых Россия –
так, значит, беда! –

мысленно пел я вместе с ней, а потом горло у меня перехватило, глаза увлажнились, и я подумал, что настоящего российского интеллигента ничем не возьмешь! Ни хаосом, ни голодухой, ни беспросветной жестокой тупостью временщиков, взлетевших ввысь на мутных и смердящих революционных волнах...

Попав за границу своей искореженной и изгаженной родины, наш интеллигент с необычайной, всепрощенческой силой пронзается таким высоким градусом сентиментального патриотизма, что вытравить из него это прекрасное заблуждение, наверное, невозможно до смерти.

Дождался я конца песни, подошел поближе и положил в гитарный футляр двадцатимарковую бумажку. Девчонка удивленно посмотрела на меня, негромко сказала по-немецки: «Данке. Дас ист цу филль», – и тут же отвела глаза в сторону.

А я трусливо промолчал. Я испугался, что моя попытка заговорить с ней, да еще подкрепленная двадцатимарковой купюрой, будет воспринята ею как пижонское поползновение сильно пожилого, напичканного деньгами господинчика завести скоропалительный туристский романчик с бедной уличной артисточкой.

Я отошел. Девушка запела «Последний троллейбус» Окуджавы. Кольцо слушателей сомкнулось за мной, и я побрел дальше. И за моей спиной в синее мюнхенское небо медленно, как детские воздушные шарик, уплывали хрестоматийные строчки шестидесятых:

...Я в синий троллейбус сажусь на ходу,
Последний, случайный...

Через десять минут, в кафе, пытаясь заказать себе светлого пива, я устроил большую пантомимическую клоунаду с официантом, тщетно и безуспешно старавшимся понять, чего я от него хочу.

От наплыва чувств, навеянных на меня песнями этой девчонки с гитарой, я начисто позабыл все иностранные слова и в тягостном общении с нервничающим официантом напоминал старого глухонемого, пораженного глубоким склерозом и «пляской святого Витта».

Что, однако, не помешало мне в конце концов получить огромную литровую кружку именно того пива, которое я так хотел.

Еще минут через двадцать, с переполненным желудком и ватными, отяжелевшими от пива ногами, я продолжил свое плавание. И вышел прямо к...

Момент!.. Вот тут я должен залезть в фотоальбом и попробовать сообразить – куда же это я вышел?

Ага... Вот оно! А вышел я, оказывается, прямо к колонне Марии у неоготической Новой ратуши.

Так, так... Что там в тексте?

«...в 1861 году в Мюнхене выросло число сотрудников городской администрации... Возникла необходимость в сооружении новой ратуши... 26 проектов... победитель – архитектор Георг Хауберрисер... В 1867 году, в присутствии короля Людвига II, ратуша была заложена... летом 1874 года – закончена».

Я искренне порадовался за администрацию Мюнхена прошлого века и подумал, что наша сегодняшняя, до неприличия раздутая московская администрация, следуя принципам короля Людвига, просто обязана потребовать еще один новый Кремль! И гораздо большего размера, чем старый.

У колонны Марии пульсировала большая толпа. Примерно каждые десять-двенадцать секунд толпа взрывалась восторженными аплодисментами.

Вежливо и неторопливо (благотворное влияние литровой кружки светлого пива!) я протиснулся сквозь толпу и увидел отличнейшего циркового эквилибриста, которому ассистировал маленький, худенький кривоногий японец в баварской шляпке с султанчиком.

Когда-то я несколько месяцев проторчал в цирке – собирал материал для очередного сценария и вскоре наловчился понимать, что там хорошо, а что плохо. Так вот, этот эквилибрист был просто классным!

Две метровые стальные трости со слегка наклонными отполированными деревянными колодками размером в ладонь были вставлены в невысокий, видимо, складной металлический столик. То, что этот эквилибрист выделял на этих тростях – как стоял в стойке на двух руках, на одной; как поочередно переходил то на левую руку, то на правую; как из стойки на одной руке медленно и элегантно опускал свое сильное тренированное тело в горизонтальный «флажок»; как из этого «флажка» снова выходил в стойку на одной руке – могло, наверное, сделать честь любому цирку!

Мне даже почудилось, что когда-то что-то очень похожее я видел на арене Московского цирка... И этот жест, и этот мягкий, непринужденный поклон, эту улыбку... Только тогда в Москве на арене стоял не столик, а какая-то высоченная конструкция, откуда выдвигалась длинная стальная штанга, уносившая того эквилибриста в стойке на одной руке чуть не под самый купол.

А худенький японец, совершенно не обращая внимания на зрителей, проворно подавал этому немцу-виртуозу то одну трость, то другую. Принимал от него уже отработанный реквизит и протягивал новый.

Когда же номер был закончен и эквилибрист сделал заднее сальто-мортале со столика прямо на каменные плиты Мариенплац и раздались оглушительные аплодисменты, японец вытащил из-под столика обычную дорожную сумку, вынул оттуда дешевенький пластмассовый подносик и, строго глядя на зрителей, пошел с подносиком по кругу.

Росла горка монет на подносике, но даже тени благодарной улыбки не промелькнуло на неподвижном и недобром лице кривоногого японца в баварской шляпке.

Циркач присел на свой рабочий столик и закурил сигарету. Японец подошел к нему, ссыпал монеты в дорожную сумку, спрятал туда подносик и молча вынул из рук эквилибриста дымящуюся сигарету. Поплевал на нее, загасил и выбросил в стоящую неподалеку урну. И что-то жестко сказал эквилибристу.

Тот хотел было резко ответить японцу, но тут нерасходившаяся толпа рассмеялась, и эквилибрист был вынужден только улыбнуться и беспомощно развести руками.

И когда он еще раз улыбнулся, мне снова померещилось, что я его уже где-то видел...

Потом я сидел под ярким полосатым тентом небольшой харчевни на Виктуалиенмаркт. Я макал жареную колбаску в нежную немецкую горчицу, прихлебывал фантастическое пиво «Аугустинер», закусывал соленым баварским крендельком и примитивно вяло философствовал о несовершенстве человеческих судеб.

Я думал о той красивой русской девочке с гитарой, которая примчалась сюда за легкой и изящной жизнью, а должна зарабатывать себе на хлеб совсем не так, как ей, по-видимому, грезилось, когда она уезжала из России...

Я размышлял об этом парне-эквилибристе, с четко выраженной западно-нордической внешностью, вынужденном работать почему-то на маленького злобного японца, который наверняка забирает себе львиную долю их уличных доходов...

И конечно, как всегда, я с легким привкусом сладковатой тоски думал о себе: о том, что жизнь уже почти прошла, что деньги и популярность принес мне очень средний сценарий,

каких у меня было десятки... Но вот именно этот сценарий попал, как у нас говорят, «в жилу», и жизнь моя окрасилась совсем иным светом. К сожалению, с опозданием лет на двадцать...

В отель я возвращался уже в сумерках.

Я шел кривоватыми и коротенькими улочками, легко перетекавшими одна в другую, изменяя только названия и почти сохраняя единое направление – параллельное Мариенплац и Кауфингерштрассе, этому Млечному Пути вечернего Мюнхена.

И вдруг в одном из переулков, под светом неяркого уличного фонаря, у сильно пожилого «фольксваген-пассата» с высоко поднятой задней дверью, я увидел девчонку с голосом Нани Брегвадзе, немца-эквilibриста и маленького японца в баварской шляпке с султанчиком.

Японец и эквilibрист грузили в багажное отделение старого «фолькса» большой плоский чемодан, дорожную сумку и гитару в жестком потертом футляре.

– Жрать хочу, как семеро волков! – на чистом русском языке сказал японец в шляпке.

– А мне сегодня один америкашка двадцатник отслюнил! – рассмеялась девочка.

– Наверное, заклеить хотел, – ревниво заметил японец.

– Да нет. Не похоже было...

– А я сегодня одного чувака видел в толпе, – проговорил эквilibрист, закрывая заднюю дверь багажника. – Он у нас лет семь назад с полгода в цирке ошивался. Чего-то там для кино делал. Я потом этот фильм посмотрел – мне чуть худо не стало!..

– Все бегут из вашей России! – зло сказал японец. – Думают, что тут повсюду медом намазано.

– Ребята... Поехали, а? – жалобно проныла девочка. – Я уже еле на ногах стою...

– Все, все! По коням, братцы! – Эквilibрист быстро сел за руль и завел двигатель.

– Катька! Я там тебе подушку из дому захватил, – сказал японец и уселся рядом с эквilibристом.

– Нет слов, Нартайчик... Что бы я без тебя делала, солнце ты мое?.. – устало проговорила девочка и улеглась на заднее сиденье пикапа.

Старый «фольксваген» аккуратно выбрался на свободную от машин проезжую часть узенькой улочки и неторопливо покатыл прочь, покачивая красным светом задних фонарей.

Я пришел в отель, взял у портье ключ и поднялся в свой номер.

Достал из чемодана бутылку «Столичной», налил полстакана, выпил и закусил одной из двух конфеток, лежавших у меня на подушке.

Водка была теплая, конфетка – резиновая, с парфюмерным запахом. Какая-то аптечная жвачка, а не конфета.

Да, да, господа! Все правильно!.. Я именно тот самый «америкашка», который сегодня «отслюнил двадцатник» вашей подруге с Мариенплац. Мало того, я действительно тот самый «чувак», который «полгода ошивался в цирке», а потом получилось плохое кино. Тут – никаких сомнений. Это я, и только я!

Но как я мог принять нашего обычного среднеазиатского киргиза, или кто он там есть на самом деле, за японца – этого я себе простить не мог!

И почему это я, старая стреляная ворона, углядел «западно-нордическую внешность» в заурядном, простоватом, пусть достаточно приятном, но совершенно русском лице эквilibриста, – просто не укладывалось у меня в голове! Тем более что я же с самого начала угадал в нем того парня из Московского цирка!

А то, что я вокруг этого еще и насочинял себе черт знает что, приводило меня буквально в бешенство!

Я налил себе еще полстакана водки и взял с подушки вторую конфетку.

Нет, господин среднеазиатский эмигрант, не все бегут из России! Это ты, сукин кот, шустришь тут с подноси́ком по площади, а некоторые...

Я залпом выпил водку и стал раздраженно зажевывать ее последней конфеткой.

Так в раздражении и заснул.

И снились мне какие-то дурацкие и тревожные сны – будто бы бегаю я по Мариенплац с подносыком, всем раздаю свои визитные карточки, а неподалеку от меня, совершенно голые, эквилибрист и певица с гитарой занимаются любовью на глазах у хохочущей толпы. Вокруг них на низкорослой лохматой лошаденке скачет злобный киргиз в баварской шляпке с султанчиком и хлещет, хлещет всех без разбора длинной сыромятной камчой, яростно стараясь добраться до меня... Ужас и ожидание обжигающего удара делают мои ноги вялыми, тяжелыми, сердце переполняет страх неотвратимости, дыхание рвется из груди, и ясное, почти реальное ощущение такой беспомощности и одиночества, что...

Тут я заставил себя проснуться. Уже светало. Пульс – сто двадцать, во рту пересохло.

Я принял полтаблетки адельфана, напился в ванной холодной воды из-под крана и снова улегся. И проспал уже без всяких киргизов до самого телефонного звонка Виктора.

Выяснилось, что я и сегодня свободен. И завтра. А вот послезавтра будет готов перевод моего сценария, и тогда-то работа и начнется...

Всю первую половину дня я шатался по Швабингу – по его Леопольдштрассе, напоминавшей одновременно и петербургский Невский проспект, и московскую улицу Горького.

Обедал в рыбном ресторанчике «Нордзее», где не нужно было выскребать из себя разные иностранные слова и вступать в мучительные объяснения с официантом. Достаточно было ткнуть пальцем в висящий прямо над буфетной стойкой большой, ярко подсвеченный диапозитив, аппетитно изображавший то или иное блюдо, и оплатить свои рыбные притязания в кассе.

Но где бы я сегодня ни шлялся – по шумной, забитой машинами и людьми Леопольдштрассе, по ее строгому университетскому продолжению – Людвигштрассе и дальше – по роскошной и элегантной Тиатинерштрассе с заоблачно-запредельными ценами в фантастически красивых маленьких магазинчиках, – меня тянуло на Мариенплац. Где русская девочка с гитарой поет *мои* песни, где на одной руке, вверх ногами, стоит акробат-эквилибрист из *моей* Москвы, где ассистирует ему маленький суровый потомок Чингисхана из *моей* Средней Азии, куда я был эвакуирован в сорок втором и откуда в сорок четвертом шестнадцатилетним, голодным, завшивевшим уходил на фронт...

– Добрый вечер, господа! – сказал я, когда отыскал их в том же переулке, что и вчера, во время погрузки реквизита в машину. – Добрый вечер, господа! – сказал я им, стараясь придать своему голосу максимум легкости и ироничности.

– Здравствуйте, здравствуйте, – улыбнулся мне эквилибрист. – Я вас на Мариенплац видел.

– И не только на Мариенплац, – заметил я.

– Верно, – рассмеялся он.

– А я думала, вы – американец, – сказала девочка. – Двадцать марок – это уже что-то от графа Монте-Кристо...

– Эмигрант? – строго спросил меня потомок Чингисхана.

– Нет.

– Давно здесь? – поинтересовалась девочка.

– Третий день.

Эквилибрист первым протянул мне руку:

– Эдик. Эдуард Петров. Вы тоже москвич?

– Да.

– Замечательно... А это Катя Гуревич. Из Ленинграда. Вернее – из Израиля... Это Нартай. Нартай Сапаргалиев. Он из Алма-Аты.

Я всем пожал руки и назвал себя. Втайне я надеялся, что когда они услышат мою фамилию, кто-нибудь из них обязательно воскликнет: «Так это вы написали то-то и то-то?!»

Но ничего подобного не произошло. Никто, никто не знает авторов даже очень известных фильмов!.. Хотя «в начале было Слово».

– Очень приятно, – вежливо сказал Эдик, переглянулся с Нартаем и Катей и неожиданно предложил мне: – Не хотите ли где-нибудь пивка выпить? У нас сегодня был неплохой день, и... мы приглашаем.

– Идея превосходная, – немедленно согласился я. – Но у меня есть встречный вариант: вы ведете меня в ближайший симпатичный ресторанчик, а приглашаю всех я. И, пожалуйста, не возражайте. У вас сегодня был неплохой день, а у меня была очень неплохая последняя пара лет...

На четвертый день моего пребывания в Мюнхене сценарий был переведен на нормальный немецкий язык, и президент киностудии наконец смог его прочитать.

После пышного комплиментарного вступления с обещаниями завоевать будущим фильмом весь кинорынок мира, президент попросил внести в сценарий некоторые изменения: часть эпизодов, происходящих в дорогостоящих декорациях, вынести на так называемую натуру. То есть, предположим, сцену царского приема в дворцовых покоях снимать на какой-нибудь лесной или садовой лужайке, что при производстве фильма обойдется вдесятеро дешевле...

Но самое серьезное требование президента касалось одного второстепенного, но очень забавно придуманного мною персонажа. В сценарии у меня действовал, смею надеяться, довольно смешной тип – международный наемный террорист прошлого века с явным уклоном в пассивный гомосексуализм.

Так вот, президент киностудии самым жестким образом потребовал убрать всю иронию в адрес этого террориста, заявив, что сегодня на Западе отношение к гомосексуализму более чем серьезное, и при будущем прокате фильма ему совсем не хочется вступать в конфликт с широкими слоями западной гомосексуальной общественности!

А чтобы я смог пережить президентские требования менее болезненно и более творчески, мне были вручены (на время) старая пишущая машинка с русским шрифтом и (навсегда!) пять тысяч марок в качестве второго аванса.

С раннего утра я трещал в своем гостиничном номере на машинке, внося необходимые поправки в сценарий, привычно ухитряясь сделать так, чтобы волки были сыты и овцы остались целы. У меня был тридцатилетний опыт подобных поправок, и я не очень сетовал на свою судьбу.

Вечерами же я встречался с Эдиком, Катей и Нартаем или с кем-нибудь одним из них и до следующего дня начисто забывал о своем сценарии. Чего со мной раньше никогда не бывало...

Поразмыслив, я и этому нашел объяснение.

Милая, забавная история стопятидесятилетней давности, положенная в основу моего киносочинения, не шла ни в какое сравнение с историями моих сегодняшних новых знакомых. Она просто не стоила выеденного яйца!

На один и тот же вопрос, который я в разное время задавал каждому из них, – «Как ты сюда попал?» – они отвечали настолько по-разному, настолько по-своему, так естественно и искренне соответствуя своему возрасту, своей речи, своим оценкам происходящего вокруг них, что я просто не рискую сам пересказывать эти истории.

Мне очень хочется, чтобы были услышаны именно их голоса...

Часть вторая, рассказанная акробатом-эквилибристом Эдуардом Петровым, – о том, как он вдруг понял, что пора менять цирк...

...Короче, когда я увидел, что они начали стрелять друг в друга, я понял, что начинается общегосударственный пиздец. И я сказал себе: «Эдик, когда свои начинают убивать своих только потому, что у одних член обрезан не под ту молитву, под которую он был обрезан у других, – из этой страны надо сваливать как можно быстрее! Пока целы руки и ноги, пока есть голова на плечах, пока манеж во всех цирках мира – тринадцать метров в диаметре и ты владеешь профессией, не требующей никакого языка, – нужно линять, ни на что не оглядываясь!..»

Тем более что в цирке я ни от кого не зависел. У меня, слава богу, партнеров нет. Я выхожу в манеж один, работаю свой эквилибр, и... общий привет! И если я сегодня не выйду на публику – от этого никто не пострадает. Инспектор манежа сделает небольшую перестановку номеров в программе, слегка изменит схему выхода коверных в паузах и вывесит дополнительное авизо за кулисами у форганга.

Но инспектор почти всегда из старых цирковых и с ним запросто можно столкнуться при помощи бутылки коньяка и липовой справки от циркового врача, который все равно не смыслит ни уха ни рыла в нашем деле, да и в своем собственном. Их обычно берут на месяц из какой-нибудь местной поликлиники на время пребывания цирка в городе. Положен при цирке доктор – получите доктора! А кто он там – отоларинголог или гинеколог – это уже никого не колышет...

Мы-то, цирковые, только рады этому. Уж если случится что-то серьезное – перелом, разрыв связок, сотрясение мозга, ну что у нас обычно случается, все равно вызовут «скорую», приедут нормальные травматологи, хирурги и с божьей помощью сообразят, что с тобой делать.

А с цирковым доктором, если ты хочешь «закосить», то есть получить освобождение от работы, разговаривать – одно удовольствие! Можешь вешать ему лапшу на уши сколько твоей душе угодно.

Заходишь к нему в медпункт вечером после работы и говоришь:

– Привет, доктор!

Днем, на репетиции, когда все травмы основные и происходят, врача не бывает. Он в это время за свои жалкие копейки пашет в своей поликлинике, а во второй половине дня, как савраска, бегает по этажам на квартирные вызовы.

И в цирк, к представлению, он приползает уже такой умудуханный, что ему все простить можно – и то, что от него за версту несет спиртягой с луковкой, и то, что его белый халат нужно было еще неделю назад отдать в стирку, и то, что к вечеру он уже вообще ни хрена не соображает.

Вот ты ему и говоришь:

– Привет, доктор!

– Эдик!.. – радостно восклицает доктор, что-то поспешно дожевывая и стараясь дышать в сторону. – Какими судьбами?! Что привело вас, Эдик, человека сильного, смелого, свободного, не обремененного женой и детьми, артиста цирка высшей категории, в мою скромную, очень среднеазиатскую обитель? Если это всего лишь триппер вульгарис, то с прискорбием предупреждаю заранее – с антибиотиками у нас просто катастрофа! Нам даже запретили их выписывать...

Я понимаю, что доктор уже успел с устатку засадить грамм триста не очень сильно разведенного спирта, и поэтому стараюсь попасть ему в тон.

– Нет, Анатолий Рувимович, – говорю я ему. – Свой последний трепак я поймал десять лет назад, извините, на процедурной медицинской сестре кафедры полевой хирургии Военно-медицинской академии в колыбели трех революций – славном городе Ленинграде.

– Боже мой! Какой кошмар... – всплескивает руками доктор.

Он быстро запирает дверь медпункта на крючок и достает из обшарпанного шкафчика с лекарствами толстую медицинскую бутылку с узким горлышком и розовой резиновой пробкой.

– Эдик! Многоуважаемый и прекрасный Эдик! – говорит доктор. – За этот прискорбный случай я обязан принести вам извинения от имени всего отечественного здравоохранения! И поэтому вы просто должны со мной выпить. Если же вы откажетесь, я буду считать, что мои извинения не приняты, и расценю ваш отказ как грубое проявление антисемитизма.

– Скорей наливайте, Анатолий Рувимович! – говорю я, хотя мне совершенно не хочется пить с ним спирт.

Быстро и ловко доктор ополаскивает две медицинские банки, которые обычно ставят на спину и грудь при простуде – они не имеют плоского доньшка, – и сует мне в руки:

– Держите! Очень удобная посуда для выпивки. Поставить недопитую невозможно и поэтому всегда точно знаешь свою меру.

– Ой ли? – сомневаюсь я.

– Поверьте опыту. Мне сейчас пятьдесят четыре, а мой бесславный врачебный стаж насчитывает двадцать девять календарных лет. Можете себе вообразить, сколько я выпил из таких баночек?

Я живо воображаю себе большую шестидесятитонную железнодорожную цистерну с чистым медицинским спиртом и спрашиваю:

– Занюхать хоть есть чем? Или мне в буфет смотреться?

– Обижаете, сударь... – печально и гордо говорит доктор и вынимает из кармана халата завернутую в чистую марлевую салфетку четвертушку большой луковицы. – Соли, правда, нет, но она и не нужна. Это наш потрясающий узбекский сладкий лук. Вам в Москве такой и не снился! А я здесь живу всю жизнь и всю жизнь закусываю именно этим луком. Представляете?

Тут я снова представляю себе цистерну со спиртом, но уже на фоне гигантской горы из узбекских луковиц. Вершина горы покрыта нетающими снегами и уходит в ярко-синее узбекское небо... И говорю:

– Наливайте, доктор. Не затягивайте процесс.

Доктор наливает в баночки чуть ли не до краев, бережно ставит бутылку на стол и осторожно берет у меня из руки баночку.

– Вы мне всегда были очень симпатичны, Эдик. Будьте здоровы! – И, закрыв глаза, доктор медленно выщеживает всю баночку.

Я свою опрокидываю залпом и тут же перестаю дышать. Доктор с грустным и слегка презрительным любопытством наблюдает за тем, как я судорожно пытаюсь вдохнуть, и кисло замечает:

– Ну кто так пьет спирт? Какая-то чудовищная профанация!

Наконец я получаю возможность перевести дух и набрасываюсь на луковицу.

– Кстати, – говорит доктор, закуривая сигарету. – А зачем вам, москвичу, нужно было ездить в Ленинград за гонореей? Да еще в Военно-медицинскую академию?

Честно признаться, когда я с небрежной лихостью упомянул про «свой последний трепак», я сказал доктору всего лишь половину правды. «Последний» триппер был у меня Первым и Единственным.

– Ах, доктор... – туманно говорю я и подставляю свою баночку. – Наливайте!

... Сначала нас, девятнадцати- и двадцатилетних, истекающих кровью, продырявленных и искалеченных, волокли на «вертушках» до Кабула, а потом тех, кто остался в живых, грузили в транспортные самолеты ВВС и везли уже до Ташкента. А оттуда на специально оборудованном самолете гражданской авиации – в Ленинград...

Заканчивался первый год этой дерьмовой войны в Афганистане, и я, к счастью, был ранен всего на одиннадцатый месяц своего пребывания там.

Недели через три-четыре, в Ленинграде, когда я уже начал вставать и даже мог доползти до туалета, где всегда пахло прокисшей мочой и стоял неистребимый запах анаши, мне прямо в академию пришла медаль «За отвагу». Наверное, награждали всех, кто не сдох тогда под Джелалабадом. Потому что лично я за собой никаких подвигов не помню и особой отваги нигде не проявлял.

Днем меня поздравили с медалью врачи и сестры нашего отделения, а ночью вся наша палата – двое русских, один туркмен, один хохол и два «наших» афганца – в компании с дежурной сестрой, санитаркой из реанимации и процедурной сестрой устроили грандиозную пьянку и гуляли «под большое декольте» чуть ли не до утра.

Вот именно в ту ночь я и схватил гонорею. Процедурная сестра была старше меня на семь лет – ей тогда уже было двадцать восемь, и это была первая Настоящая Женщина в моей жизни. Писюхи, с которыми я путался еще в цирковом училище и вообще до армии, не выдерживали с ней никакого сравнения!

Даже сейчас, спустя одиннадцать лет, несмотря на триппер, которым она меня тогда наградила, я вспоминаю о ней с благодарной нежностью...

– Мне нужна справка, доктор, – говорю я напрямую, потому что вдруг понимаю, что не имею права пудрить мозги доктору.

Я пью *его* спирт и сожрал *его* луковку, и я не должен ему врать, как плохо я себя чувствую, только для того, чтобы выудить из него паршивое освобождение от работы, которое явится всего лишь первым, крохотным звеном в цепи моего дальнейшего глобального вранья и ухищрений...

Этот длинный, тощий, вечно полутрезвый еврей, болтающий по-узбекски так же, как по-русски, и совершенно не знающий еврейского, – достоин правды. Хотя бы ее небольшой части.

– Мне нужна справка, Анатолий Рувимович, что я не могу больше выходить в манеж и работать свой номер. И что мне требуется длительное лечение. Для того, чтобы это выглядело правдоподобно, могу сообщить вам, что у меня под левой лопаткой, в полутора сантиметрах от десятого и одиннадцатого позвонков, имеется замечательная, размером с половину куриного яйца, дырка от минометного осколка, вовремя извлеченного из меня умельцами кафедры полевой хирургии. Может быть, вам это поможет? Но мне, доктор, нужна такая справка, чтобы меня тут же отпустили из программы домой в Москву, потому что я не хочу быть здесь пристреленным каким-нибудь кретином-узбеком или охувшим от страха турком-месхетинцем! Я это уже все кушал в Афгане. С меня хватит...

Несколько секунд доктор разглядывает меня поверх очков на удивление трезвыми глазами и наконец говорит:

– Снимите рубашку.

Короче, когда я прилетел в Москву, я увидел ту же самую сраную картинку, что была здесь и три месяца назад, когда я улетал в Среднюю Азию.

В аэропорту всюду шустрили фарцманы и мажоры, только теперь числом поболее да понаглее.

На выходе толпилась туча одинаковых молодцов разного возраста и вида в кожаных курточках с чужого плеча. Все они небрежно крутили на пальцах ключи от своих машин и, выискивая в толпе наиболее стоящего клиента, спрашивали: «Куда едем?» А потом заламывали

такую цену, от которой перехватывало дыхание и возникало испепеляющее желание стрелять, стрелять и стрелять! Длинными, нескончаемыми очередями!

Таксисты стали совсем симпатяги – до Москвы только за доллары. На худой конец – немецкие марки. Но вдвое больше...

В некоторых такси сидели хорошенькие молоденькие проститутки с бутылкой коньяка, заряженной клофелином, чтобы после второй рюмки клиент в лучшем случае проснулся бы в мерзлом придорожном кустарнике без намека на портки, багаж и деньги, а в худшем – отыскался бы через недельку в ближайшем лесочке, припорошенный грязным обледелым снежком...

На вполне пристойных западных машинах тихонько патрулировали «боевики» и рэкетирсы, зорко вглядываясь в багаж прилетевших иностранцев, в фирменные коробки соотечественников, вернувшихся с видеками, телевизорами или компьютерами. И если такого счастливца никто не встречает, более чем вероятно, что как только его такси тронется к Москве – за ним сразу же последует одна-две машины «боевиков». Он и десяти километров не успеет проехать, как его тормознут, заставят съехать на боковой проселок, а там хорошо если только нададут по мордам или вырубят милицейской дубинкой по башке. Будешь возникать и рыпаться – пристрелят запросто...

Валить, валить надо к чертовой матери! Не от страха, не за хорошей жизнью – там своих заморочек хоть жопой ешь. Я поездил, на все насмотрелся. Сваливать надо от всех этих наших совковых рыл, от беспредела, от постоянного унижительного состояния собственной беспомощности, когда от тебя ни черта не зависит и ты ничего не можешь изменить.

Надо отваливать, и как можно быстрее и четче. Никаких эмоций, никаких правозащитных лозунгов и вонючих диссидентских всхлипываний. Все надо делать тихо, аккуратно и в хорошем темпе.

А манеж во всех цирках мира одинаковый – тринадцать метров.

Я втиснулся в рейсовый автобус, благо у меня с собой, кроме дорожной сумки, не было ни хрена. Все мало-мальски стоящие шмотки я еще в Ташкенте запаковал в так называемый «Багаж срочной отправки „Союзгосцирка“». Это такие деревянные ящики для транспортировки циркового реквизита. Приклеиваешь на ящик специальные бланки, вписываешь в них фломастером – «Отправитель: цирк Ташкентский», «Получатель: цирк Московский», «Багаж артиста такого-то»... и гори оно все синим пламенем!

Через пару недель заскакиваешь на Цветной бульвар в старый цирк – твой багаж уже стоит на конюшне.

...А вокруг серый, с грязными проталинами снег на обочинах, и автомобили на шоссе все бесцветные, серые, заляпанные по самую крышу, и автобус наш несется к Москве, вспарывая пелену мокрого серого тумана, и стекла изнутри потеют, и чтобы хоть что-то увидеть, нужно все время протирать их рукавом или перчаткой. А чего я там, мать их за ногу, не видел?! Ах, дерьмо погода!.. И это через три часа после Ташкента! Где уже месяц – плюс восемнадцать-двадцать, где белое, слепящее солнце в синем высоченном небе. Не то, что здесь – черные облака, как потолок в новостройке – подними руку и достанешь.

Ах! Пацана того, узбечонка, жалко до смерти! Или он не узбечонок был, а... Как его? Месхетинец, что ли? Да разве в этом дело?! Ему же лет четырнадцать-пятнадцать всего... И держал он в руках лишь старую армейскую ракетницу – из нее с десяти метров слону в задницу не попадешь, а они ему из автомата все кишки наружу выпустили! Это вместо того чтобы просто морду набить. И он ползет по теплой желтой азиатской пыли, тихо повизгивает, как поросенок, а за ним все это черно-красно-розово-мокрое тянется...

И это под таким солнцем, под таким небом!

– А вы с Москвы? Вы – местный?

Я поворачиваюсь. Рядом со мной сидит этакое юное создание с круглыми коленками и роскошными ляжками, выпирающими из-под кургузой кожаной юбочки – короче некуда, и разглядывает меня своими откровенно блядскими глазками. Розица у нее разрисована неумело, косметика дешевенькая, зубки давно не чищены, лак с ногтей наполовину облупился, и от нее за версту разит потом и одеколоном «Кармен».

– Местный, – отвечаю я.

– Хорошо вам... – завистливо вздыхает она.

– Чем же?

– Счас домой приедете – жена встретит, ребеночек...

Это она так пытается прояснить ситуацию.

Дурочка ты моя родная, было бы тебе на пару лет больше, я бы тебя сейчас забрал к себе, выполоскал бы в ванне и трахал бы как жучку до завтрашнего утра. А потом бы дал денежку на таксырник и... гуд бай, бэби! Чао, пупсик! Аривидерчи, киса!

– А тебя никто не ждет?

– Меня лично – нет. Я – человек свободный.

– А что ты в аэропорту делала?

– А мне сказали – там в стюардессы принимают.

– И как?

– А-а!.. Все только обещают, и каждый лезет и лезет.

– Они, что же, не видят, что ты малолетка?

– Почему я «малолетка»? Ничего я не малолетка!

– Ну ты мне мозги не пудри, – говорю я. – Тебе сколько?

– А сколько вы дадите? – Она трусливо косит по сторонам – не видит ли кто, придвигается поближе и как-то снизу, по-кошачьи, заглядывает мне в глаза.

Хорошенькая, сучка, спасу нет! Помыть, причесать, накормить, воткнуть для ее образования в видеоманитофон какую-нибудь порнушку, и... понеслась по проселочной. Взять ее с собой, что ли?

Еле сдерживаюсь, чтобы не положить руку на ее пухлое колено, обтянутое плохо заштопанными колготками, и говорю:

– Да у тебя, зайка, на роже написано – «статья сто семнадцатая, часть первая».

– Ой, ну что это вы все так боитесь сто семнадцатой? – Она презрительно кривит губки и слегка отодвигается.

– В тюрьме скучища, кормят плохо, – говорю я. – А ты, я смотрю, все статьи знаешь?

– А чего... Ну так это же... Ну как его? «С лицом, не достигшим половой зрелости», да? – И она, лапочка моя, даже немного смущается.

– Молодец! – говорю. – Умница. Пятёрка с плюсом. Так сколько тебе? Четырнадцать – есть?

– Почему четырнадцать? – обижается она. – Пятнадцать! Но все говорят, что я уже хорошо оформлена...

– Правильно говорят. Оформлена ты действительно будьте-нате. Но без меня, ладно? – говорю я и отворачиваюсь к окну.

Тому пацаненку, который скулил и полз в кровавой пыли, сжимая в костенеющей руке свою дурацкую ракетницу, тоже было, наверное, не больше пятнадцати...

* * *

Москва вообще умом сдвинулась. Какой-то пир во время чумы. Все в коммерцию бросились – рвут, хапают, валюту скупают, открывают счета в банках – у нас, за границей. Шустрят так, что от каждого дым валит. СП – совместные с иностранцами предприятия – как грибы после дождя! Самые главные сейчас люди – те, которые смылись из «совка» лет десять назад. Сейчас они прилетают в наш зловонный распад героями, деловыми людьми. Они уже там, за бугром, знают, как напарить ближнего, и до сих пор помнят, как это делается здесь, у нас. Все они – «президенты», «генеральные директора», «менеджеры», у всех визитные карточки с факсами и телексами, бланки, штампы, печати! Наши только от одного вида этих печатей балдеют и в любое дерьмо с головой бросаются.

Я-то знаю цену всем этим примочкам. Помню, года три-четыре назад мы работали в Стокгольме, и хозяин наших гастролей, отличный мужик, уже лет двадцать живущий в Швеции, наш бывший военный моряк, когда-то дрыснувший со своего эсминца, выплатил мне дополнительные шестьсот крон за несколько лишних выступлений. Я ему и говорю:

– Иван, дай мне какую-нибудь справку. А то меня на таможне замучают. У всех одна сумма, а у меня больше на шестьсот крон...

– Нет проблем, Эдик, – говорит Иван, пишет на своем бланке то, что требуется, и подает его мне.

– А печать? – спрашиваю.

Иван подводит меня к окну своего бюро, показывает на противоположную сторону улицы и говорит:

– Эдик, вон там, в низочке, есть мастерская по изготовлению всяких печатей, штампов, бланков, визиток... Сходи туда и закажи себе любую печать, какая тебе понравится. Хоть с гербом Советского Союза. Это недорого. А у меня никаких печатей нет. Мне тут верят на слово.

Поэтому, когда через пару дней после прилета в Москву, в полуподвале на Стромьнке, в роскошно отделанном помещении бывшей дворницкой я наконец нашел «офис» Женьки Овчаренко – главы какой-то околотириковой конторы, я не очень-то клюнул на все эти факсы-телексы и на девочек-референтов, болтающих по разным телефонам на разных языках. Я Женьке просто сказал:

– Жека, нет ли у тебя концов организовать мне гостевой вызов в Германию? Хотя бы на месячишко.

– И ты, Брут... – Женька нажал кнопку на телефоне, смахивающем на пульт управления космическими полетами, и когда оттуда раздалось: «Слушаю вас, Евгений Алексеевич!», сказал: – Меня ни с кем не соединять. Я занят.

Из-под стола Женька достал бутылку семизвездочной «Метаксы» (я такой в жизни не видел!) и две рюмки. Мы выпили. И тогда Женька сказал:

– Эдик, а почему ты хочешь именно правой ногой почесать левое ухо? Зачем ты так усложняешь ситуацию? Для того чтобы смылиться из «совка», сегодня существует масса других способов.

– Я хочу смылиться?! Перекрестись, Женька! Мало мы с тобой ездили, мало у меня было возможностей остаться там, за бугром? Ты же знаешь – я потенциальный возвращенец...

– Тогда зачем тебе гостевой вызов? Я могу воткнуть тебя в одну небольшую группу – в Америку на шесть недель, я как раз комплектую программу и ты можешь стать ее украшением. И обойдется тебе это гораздо дешевле, чем гостевой вызов. Я беру всего тридцать процентов от того, что ты там заработаешь. А в Штатах, как тебе известно, существует цирк «Барнума и Бейли», и ты сможешь там запросто определиться на дальнейшее...

И тут я подумал, что сегодняшнее наше смутное время – это время Женьки Овчаренко. И таких, как Женька. Он всю жизнь был очень средним жонглером и гениальным пронырой. Он не вылезал из зарубежных гастролей, куда отбирали лучших из лучших и где по гамбургскому счету Женьке просто не было места. Поговаривали, что Женька слегка «постукивал» в КГБ, но у нас этим занимался почти каждый, кто хотел ездить за границу, не имея на это права.

– Хорошо, Жека, – сказал я. – Сейчас я тебе честно обрисую ситуацию.

Я вытащил все свои медицинские справки – от выписки из истории болезни Военно-медицинской академии до липовой бумажки ташкентского доктора Анатолия Рувимовича.

– Если я буду работать в программе – в Америке, в Германии или еще где, у меня не будет свободной минутки. Сам знаешь – днем репетиция, вечером – представление... Если же я поеду по гостевому вызову – я смогу там хоть немного подлечиться. В Мюнхене, говорят, есть одна потрясающая клиника. А у меня от прошлых поездок скопилось немного валютки, и я хотел бы...

– Эдик, у меня просто нет времени слушать всю эту херовину, – прервал меня Женька. – Хочешь темнить? Бога ради! Тебе так удобнее? Нет проблем. Я же тебя ни о чем не спрашиваю. А все эти справки можешь свернуть с трубочку и засунуть себе в жопу. Мне они – до фонаря. Итак? – Он подвинул к себе блокнот и стал деловито записывать: – Значит, первое. Гостевой вызов в Мюнхен?

– Да. Хотя бы на месяц.

– На три. Можешь не успеть сориентироваться. Второе – паспорт. Третье – билет на самолет. Сейчас с этой позицией такая заморочка, тебе самому не осилить. Что еще?

– Да все, вроде...

– Нет, не все. – Женька открыл вделанный в стену небольшой сейф, вынул оттуда тоненькую брошюрку и бросил ее на стол. – Это тебе от меня на память. Бесплатно. Тут ты найдешь все, что тебе нужно.

Я проглядел брошюрку. Это была подробнейшая инструкция о том, как просить в Германии политического убежища, куда нужно идти, что нужно говорить, как нужно держаться, перечень возможных вопросов, примеры правильных ответов, адреса, телефоны и даже фамилии чиновников всех немецких учреждений, занимающихся приемом беженцев в основных крупных городах Германии. Включая и Мюнхен.

– Мне-то это зачем? – фальшиво спросил я, не находя в себе сил выпустить эту брошюрку из рук.

– Эдик! Ты – классный акробат, – сказал Женька и налил еще по рюмке. – Сегодня – ты лучший эквилибрист в «совке». Но как драматический актер ты полное говно! И глядя в твои лживые глаза, я могу ответить тебе только словами гения русской сцены Станиславского: «Не верю!»

Я молча пожал плечами и сунул инструкцию в карман куртки.

– Теперь о деле. – Женька жестко посмотрел на меня. – Как ты понимаешь, все стоит денег. Я завязан на очень солидных людей во всех этих сферах...

Он потыкал пальцем в список необходимых для меня бумаг.

– Вызов – три тысячи, паспорт в ОВИРе – пятнадцать, консульская виза без очереди – пять, за билет в одну сторону – четырнадцать плюс две с половиной сверху. Инструкция, которая тебе так «не нужна», – полторы. Но это тебе приз за решительность, конспиратор хуев. И торопись! Цены растут каждый день!

Я быстро прикинул общую сумму – получалось что-то около сорока тысяч. У меня была заначка на черный день – тысяч двадцать, но я рассчитывал еще кое-что продать...

Женька будто бы прочитал мои мысли:

– Есть другой эквивалент расчета: вызов – пятьдесят долларов, паспорт – двести, виза – сто, билет – за рубли, сверху пятьдесят зеленых. Это немного не соответствует курсу, но такие

ставки, старик, и я ничего не могу поделывать. Если будешь распродавать свои видики-шмидики, «тачку» и хату – могу устроить серьезных клиентов. Платят любой валютой в разумных пределах. Двадцать пять процентов – мои. Но зато и я постараюсь выбить из них побольше. Так что ты ничего не теряешь. О'кей?

– О'кей, – сказал я и выпил свою рюмку.

– Давно бы так, – рассмеялся Женька.

Он тоже поднял рюмку и только хотел выпить, как его невероятный телефон щелкнул, и голос референта произнес:

– Евгений Алексеевич, Вашингтон на проводе. Мистер Саймонс.

– Все, Эдик! Чеши по холодку. Я тебе через пару дней позвоню.

Он отставил в сторону рюмку с коньяком и поднял телефонную трубку. И вдруг, неожиданно для меня, бойко заговорил по-английски. Вот это да! Кто бы мог подумать?!

Все-таки я жутко беспринципный тип!

Всю дорогу от Женькиного офиса до дома я говорил себе: какое счастье, что у меня есть старый приятель Женя Овчаренко! Какое счастье, что он может избавить меня от целого комплекса чудовищных предотъездных унижений, с которыми сталкиваются тысячи наших несчастных эмигрантов, не имеющих такого Жени Овчаренко!

А приехав домой, я понял, что если бы мне пришлось перечислить пункты, по которым я хочу навсегда уехать из этой страны, то одним из таких пунктов был бы Женька Овчаренко. Конечно, нельзя чтобы государством управляли кухарки, но нельзя это государство отдавать и Женьке Овчаренко. Или ему подобным. Даже если кто-то из них бойко говорит по-английски.

И вот это отсутствие четкой позиции и твердых, принципиальных убеждений во мне самом меня иногда очень и очень пугает...

* * *

На следующий день я захватил с собой маленькую узбекскую дыньку, которую привез из Ташкента, подъехал на Бородинскую в «валютник», купил за одиннадцать долларов большую бутылку шведского «Абсолюта» и помчался в район стадиона «Динамо» – в наши Центральные мастерские по изготовлению цирковой аппаратуры и реквизита – к Павлу Петровичу. На Пал Петровича нельзя жалеть денег – ни «деревянных», ни конвертируемых. Особенно, если ты хочешь смылиться и рассчитываешь *там* работать по своей профессии.

Не потащишь же ты *туда* пьедестал, который в манеж выносили пятеро униформистов. В нем только механических премудростей да электрических моторов – килограмм на полтора! Там мне нужно совершенно другое.

Поэтому я и бросился к Пал Петровичу. Пал Петрович – механик божьей милостью! Прозвище – Кулибин, возраст – семьдесят, отличительная особенность – пол-литра водки ежедневно при совершенной ясности творческого мышления и недельный запой один раз в три месяца с полным отключением от реальной жизни.

– Не бойсь, Эдуард, – сказал мне Павел Петрович. – Я тебе сделаю такой аппаратик, что все уссутся от зависти!

Он уже выпил стакан «Абсолюта» и теперь деликатно закусывал тоненько нарезанными ломтиками дыни. Потом вытер заскорузлые пальцы ветошью и стал набрасывать на клочке оберточной бумаги эскиз, сразу же проставляя предполагаемые размеры.

– Вся эта хреновина будет вроде плоского чемодана... – комментировал он. – Вот тута кнопку нажал – он раскрывается, и уже не чемодан, а столик с ножками. Тама же две трости с кубиками... Отработал на двух, вот отсюда выдернул их, а вот сюда – в центральную дырку – одну вставил. Тама будет вертушка с трещоткой и стопором. На этой трости – делаешь

копфштейн, стоишь одну руку, как хочешь выгибаешься. И все это с вращением. Ты в какую сторону обычно вертишь? Я уж подзабыл малость...

– По часовой стрелке.

– Ага! Точно... Тады нет вопросов. Отработал номер, спрыгнул со стола, вот на эту штуковинку нажимаешь, и твой столик обратно превращается в чемодан! Ну как?

– Замечательно!

Я вспомнил, что в самолет по «бизнес-классу» принимают всего двадцать килограмм багажа, и спросил:

– Он килограмм десять потянет?

– Ты что, Эдуард? Куды тебе такую тяжесть? Пять – пять с половиной, не больше. Я тут в авиационном институте малость хагээс-тридцать достал, так неужто я для тебя пожалею?!

– Что это за «хагээс»?

– Сталь такая. Только на космос идет. Тоненькая, легонькая, трех слонов выдержит. У тебя какой рабочий вес? Твой личный?

– Семьдесят три – семьдесят четыре.

– Вот и считай, что у тебя будет двадцатикратный запас прочности. Хватит тебе?

– Хватит. Налить?

– Не, рано пока. Я еще в обед стакан шлепну, и будя. Вот я говорю: с таким портативным реквизитом можешь где хочешь работать – что в манеже, что на сцене в Кремлевском дворце, что на любой эстрадной халтуре!

Я подумал о том, что если мне удастся продать квартиру, машину и все остальное барахло за валюту, то после расчета с Женькой Овчаренко у меня еще останутся кое-какие деньжата. И надо будет их как-нибудь вывозить за пределы нашей великой и необъятной. И я спросил:

– А ножки будут трубчатые?

– Трубчатые. И неразборные. – Пал Петрович внимательно посмотрел на меня поверх очков. – Но тебе я могу одну ножку сделать с хохмой. Запихнешь туда чего хочешь. Наварю фальшивые головки от винтов, а стыки заполирую так, что никто сто лет не догадается! Сделать?

– Да мне вроде как-то ни к чему...

– Сделаю! Глядишь и пригодится. – Пал Петрович что-то пометил в эскизе. – Слышал – Левка Гаврилиди в Канаде остался? Пацан один из подкидных досок – в Египте. Я ему только-только ходули с амортизатором сотворил – он на них с подкидной доски тройной сальто-морताल с пируэтом делал... И на тебе! На хер ему там ходули?

– А тебе неохота уехать, а, Пал Петрович? – осторожно спросил я.

– Не, Эдик. Я там с голоду подохну.

– С твоими-то руками?!

– Хоть с руками, хоть без них. Я – человек пьющий. А тама этого не уважают. Это у нас чем больше закладываешь, тем больше с тобой нянькаются. А тама – извини-подвинься.

Словно в подтверждение сказанного Пал Петрович налил себе полстакана «Абсолюта»:

– Эх, Эдуард, нарушаю я с тобой свой регламент!

И выпил. Отрезал кусочек дыньки, понюхал его, но есть не стал. Отложил в сторонку и спросил меня тихо:

– Как думаешь, Эдик, война будет?

– Какая?

– Гражданская.

– Так она уже идет. Весь юг полыхает. Тебе этого мало?

– Не, Эдуард... Я тебя про нас спрашиваю – про Россию.

– Не знаю. Не думаю.

– А вот я так полагаю – будет. Ты глянь, чего творится! Это же уму непостижимо! Не могут люди так долго выдерживать. Кака-никака отдушина, а должна произойти! Да и начальникам это на руку. Они под это дело чего хошь спишут.

– Да бог с тобой, Петрович!

– Точно, Эдик, точно... По первости начнут, как всегда, жидов резать, а потом и брат на брата пойдет...

Я готов был подписаться под всем этим, но на всякий случай трусливо промолчал.

– Но мы с тобой уже свое отвоевали. – Петрович решительно завинтил пробку на «Абсолюте» и отставил бутылку в сторону. – И ты, и я. Хватит! Только мне жить с гулькин хер осталось, а у тебя еще лет сорок впереди. Уезжай, Эдуард, отсюда. А я тебе такой реквизитик заделаю – пальчики оближешь! С ним на любой манеж не стыдно будет выйти. Уезжай...

Все, все! Пора вызванивать какую-нибудь бабу! А то мне уже которую ночь мерещится эта молоденькая автобусная поблядушка. Так и вижу ее круглые коленки в заштопанных колготках, ее потрясающие ляжки из-под короткой кожаной юбочки...

Конечно, можно раскрыть мой замечательный секс-блокнотик, сесть на телефон и начать планомерно обзванивать весь список одноразовых телок. Но мне нужен был четкий «верняк». И я позвонил Юльке.

– На ловца и зверь бежит, – рассмеялась она. – Я уже даже в ваш вонючий «Союзгосцирк» звонила, или как там он у вас теперь называется. Мне сказали, что ты в Ташкенте заболел и вот-вот должен появиться в Москве. Что с тобой?

– Острый, очень болезненный приступ хронического желания увидеть тебя в своей койке.

– Состояние тяжелое, температура повышена, дыхание частое и прерывистое?

– Да, да, да!

– Еду, – сказала Юлька.

...После ранения я год не работал в цирке. Тогда еще была жива мама, и мы вдвоем ютились в нашей однокомнатной квартирке на Усиевича. Мама потихоньку пропивала обе наши пенсии – и свою цирковую, и мою военкоматовскую. Жить было почти не на что, и когда мне за какие-то небольшие деньги предложили вести кружок акробатики в Доме пионеров и школьников в Подлипках, в тридцати километрах от Москвы, я с радостью согласился. И мотался на электричке три раза в неделю туда и обратно почти восемь месяцев. Там у меня была группа ребятешек – в основном дети сотрудников известного всему миру и совершенно секретного в нашей стране ракетно-космического завода.

Вот в этой группе у меня занималась и Юлька.

Ей тогда было, кажется, лет тринадцать. Она обладала безрассудной смелостью, абсолютной бездарностью к акробатике и фантастической кошачьей грациозностью.

По-моему, уже в то время она вовсю трахалась с мальчишками-старшеклассниками, и каждый раз после занятий у выхода из спортивного зала ее ожидали несколько юных подлипкинских пижонов, которые беспрестанно курили, длинно сплевывали и переговаривались с искусственной приклатненной хрипотцой.

Пять лет спустя я работал в международной программе артистов цирка социалистических стран в Варшаве. Цирк стоял в паршивом, жлобском районе, на Товаровой улице, реклама была слабенькая, но народ валил как на пожар, и это было единственным нашим утешением. Платили нам, советским, такие жалкие гроши, что покупка лишней пачки сигарет становилась глобальной финансовой проблемой. Жили мы в «Доме хлопа» – что-то типа нашего «Дома колхозника», по два-три человека в комнате, и не могли дожидаться окончания этих нищенских «заграничных» гастролей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.